

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ

Мать не ушла. Мать стала землёй

АННА КАМОЛОВА

Анна Камолова

Серебряная нить. Книга 2

«Автор»

2026

Камолова А. В.

Серебряная нить. Книга 2 / А. В. Камолова — «Автор», 2026

Эви возвращается в тундру с бубном, билетами в Москву и вопросами, от которых стынет кровь. Кто отправил её мать-учёную в экспедицию, закончившуюся смертью? Почему дед купца Тумановского сорок лет искал одну и ту же лиственницу? Путь от Ноябрьска до Алтая и обратно — это не погоня за наследством, а распутывание серебряной нити, натянутой между шаманским бубном и стальными хранилищами данных. Эви предстоит стать мостом между тремя мирами: Нижним гулом земли, Средним миром людей и Верхним дыханием неба. Вторая часть саги: тундра здесь дышит — тяжёло, угрюмо, по-звериному, а Москва кажется мёртвой. В этой ледяной тишине слышно то, что не купишь ни за какие деньги.

© Камолова А. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Серебряная нить	5
Глава 1. Билет	5
Глава 2. Фактория	12
Глава 3. Архив	14
Глава 4. Вызов	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Анна Камолова

Серебряная нить. Книга 2

Серебряная нить Книга вторая

Глава 1. Билет

Билет лежал на столе три дня. Эви нашла его утром, когда вышла из чума Сэвле — в последний раз, с бубном в руках и с пеплом на ладонях от углей, которые грела всю ночь. Бело-голубой прямоугольник с буквами: Ноябрьск — Москва. Дата, бегло глянутая, показалась ошибкой. Она не опоздала. Билет ждал её. Кто-то положил его на стол в доме Тарко, пока она провожала Сэвле. Ной? Нет, Ной не ходит в город и не покупает билетов. Дима? Он звонил вчера, но связи в стойбище не было. Мог передать через водителя снегохода, который возит грузы.

Неважно кто. Важно — зачем.

Эви стояла у стола с бубном в руках и смотрела на билет. За окном лежала тундра — белая, ровная, до горизонта. Небо нависло низко, серое. Снег падал мелкий, сухой, колючий. Чум Сэвле опустел. Шест с костями и лентами стоял, но кости не стучали: ветер стих, и они висели неподвижно, как мёртвые пальцы. Ной вышла из чума, посмотрела на Эви, на билет, на бубен. Ничего не сказала и вернулась внутрь. Полог за ней тихо опустился. Ной вообще не делала лишних движений — она двигалась тихо, как женщина, которая знает: тишина не пустота, а присутствие. Эви села на лавку и положила бубен на колени ладонью вниз, как держат спящего щенка. Кожа была тёплая, живая. На рисунке проступали три мира: Верхний, Средний, Нижний. Бубен гудел. Тундра гудела. Всё гудело — одним низким звуком, натянутым от земли до неба.

Сон.

Эви закрыла глаза, и сон встал перед ней — не воспоминание, а присутствие. Тот сон, из которого она проснулась со стучащим сердцем. Берег реки, чёрная вода, густая, как масло. Небо — не это, другое, с незнакомыми звёздами. И мужчина. Сэвле, но не тот, которого она знала: младший, сильный, без седины и дрожащих рук. Он стоял на берегу, и слова его шли не через уши — сквозь кожу, сквозь кости:

«Теперь ты знаешь правду про отца. Теперь узнай правду про мать. Приходи».

Про отца она знала. Сэвле сказал перед смертью: «Я — твой отец. По крови. По дару. По бубну». Она приняла это — не сразу, телом раньше, чем головой. Тело знало всегда: когда Сэвле учил её слушать гул, когда он сидел рядом и молчал, когда смотрел не на неё, а сквозь — туда, позади её спины, где жили духи. Этот человек был не чужой. Этот человек был корень. Корня больше не было. Остались бубен, гул и она.

Но мать оставалась лицом без имени. Женщина с тёмными волосами, с карими, почти чёрными глазами. Учёная, та, что изучала травы. Приехала с экспедицией, слушала шёпот листьев, видела не глазами — грудью. Как шаман, только без бубна, без обучения, без Сэвле. Одна, с рюкзаком и терпением, с руками, которые знали травы так же, как руки Эви знали иглу и нитку. Пришла с чужими, уехала. Вернулась одна. Жила в палатке, ходила по тундре, разговаривала с женщинами. Каждый день подходила к Сэвле. Молчала рядом. Потом ушла, не оборачиваясь. А через полгода — весной, ночью, когда наст ещё держал, — приехал брат.

Молодой, с красным от мороза лицом, с испуганными глазами. Положил свёрток у лиственницы. Сказал: «Сестра умерла. Роды». Ушёл.

Это было всё. Сэвле говорил, но рассказал по-своему: коротко, точно, без лишнего — как Тарко бросал копье. Один удар — и цель поражена. Только после удара оставались вопросы.

Вопросы лежали в груди, как камни на дне реки: тяжёлые, гладкие, неподвижные. Эви собирала их годами — с тех самых слов Сэвле. Каждый сон о матери добавлял камень. Каждое утро, когда она просыпалась и помнила лицо — тёмные волосы, карие глаза, спокойную улыбку, — добавляло ещё один. Камни давили, мешали дышать, но Эви носила их, потому что не знала, куда положить. Сэвле умер. Тарко умер. Ной знала, но молчала. Марина не знала. Дима не знал. Дайя догадывалась, но она была далеко, на Бали, за морями.

И вот — билет. Москва. «Приходи», — сказал Сэвле во сне. Не тот Сэвле, который умер, а другой: тот, что был до. Тот, что искал её у лиственницы. Тот, что держал бубен, когда бубен зазвучал сам. Сэвле-дух. Сэвле-предок. Голос, который шёл не из горла, а из земли.

«Приходи». Куда — ясно. Зачем — узнать правду про мать. Какую — не знала. Но тело знало. Оно всегда знало раньше головы, честнее головы. Тело говорило: иди. Бери бубен. Бери билет. Иди.

Она не шла. Три дня.

В первый день сидела в чуме Ной и шила. Игла из оленьей кости, нитки из сухожилий, старая ровдуга, пахнущее дымом и жиром. Красный зигзаг по белому, грубые стежки, как учила Ной: «Чтобы глухарь охранял». Защита души ребёнка. Но ребёнка не было. Был бубен, был билет, был сон. Эви шила и думала: от чего защищать-то, если не знаешь?

Ной сидела рядом — маленькая, быстрая, с руками, которые не знали покоя. Шила ровно, стежок к стежку. Песня без слов шла из неё, как дыхание. Эви хотела спросить и не спросила. Ной закрывалась, как дверь, которая не открывается. «Это не мой рассказ», — сказала она однажды, когда Эви спросила про родителей. «Спроси Сэвле». Сэвле не стало. Дверь осталась той же.

На второй день Эви пошла к лиственнице. Одна, пешком, по насту, который скрипел под валенками. Дерево стояло старое, кривое, тёмное, как рука, протянутая из земли к небу. Под ним лежал нетронутый снег. Здесь Сэвле нашёл свёрток. Здесь бубен зазвучал сам. Здесь Эви появилась — не родилась, а появилась: была и стала. Между «не было» и «есть» — один удар бубна. Одно слово: «Эви».

Она села под лиственницей. Положила бубен на колени. Не била — слушала. Тундра гудела: далёкий, низкий, ровный звук, пульс земли. В гуле различались голоса — ветер, снег, лёд, дерево. А под ними, тоньше и глубже, шёл другой звук. Плач. Тихий, далёкий, как стон из-под льда. Она слышала его в детстве: проснулась ночью, вышла в мороз, и кто-то плакал у реки — низко, по-звериному, но с человеческой тоской. Тогда она думала: дух. Теперь думала: мать. Не призрак — тоска, которая осталась в этом месте, как запах остаётся в одежде. Тундра не стирает. Тундра хранит.

Эви прижалась лбом к стволу. Кора была шершавая, холодная, пахнувшая смолой и старостью. И тёплая — не от солнца, изнутри дерева. Как будто оно грело её. Как живое. Как мать, которая обнимает и греет, не говоря ни слова.

— Кто ты? — прошептала она. Не дереву — тому, что плакало под землёй.

Тундра молчала. Снег падал. Гул шёл.

На третий день Эви не выдержала.

Вечером, когда Ной сидела у очага и перебирала замороженные ягоды, тёмные, как камешки, Эви поставила бубен на шкуру и сказала:

— Ной. Расскажи про мою мать.

Ной не остановилась. Пальцы продолжали перебирать ягоды — синие и белые, как бисер. Лицо оставалось непроницаемым.

— Я спрашивала раньше, — продолжила Эви. — Ты сказала: «Спроси Сэвле». Сэвле нет. Я провела его бубном. Я закрыла ему глаза. Теперь спрашиваю тебя.

Ной молчала. Шуршали ягоды, потрескивал огонь, гудел ветер в дымоходе. Тишина стояла не пустотой, а стеной — плотной, без трещин.

Потом Ной подняла голову. В маленьких тёмных глазах не было ни страха, ни злости — только усталость. Старая, как у камня, который веками лежит на одном месте и помнит всё, что прошло поверх него.

— Сэвле сказал мне, — произнесла она тихо. — Перед смертью. «Когда Эви увидит сон и спросит про мать — расскажи. Всё, что знаешь. Всё, что я знал».

Эви замерла. Бубен на коленях дрогнул — не от удара, от вибрации, совпавшей с голосом Ной. Как будто он тоже слушал.

— Он знал, что ты придёшь, — продолжила Ной. — Он ждал. Он держал это в себе, как держат воду в берестяной посуде: бережно, потому что протечёт — и не собрать.

Она отодвинула ягоды, сложила руки на коленях и выпрямила спину — маленькая, но прямая.

— Я расскажу. Не потому что хочу. Сэвле сказал — должна. Я послушная. Не всегда. Но для Сэвле — послушная.

Она помолчала, глядя на угли, и начала.

— Женщина приехала с людьми. Их было много: мужчины, женщины, машины, ящики. На вертолёте — громком, большом, как железная птица. Мы испугались. Тарко не испугался: он не боялся железа. А я боялась. Вертолёт сел, и вышли люди. Один с камерой, другой с блокнотом, третий с прибором. И у всех глаза смотрели не на тебя, а сквозь тебя — как будто ты не человек, а часть пейзажа. Дерево. Камень. Олень. Они смотрели — и записывали.

— А женщина? — спросила Эви.

— Женщина была другая. Она не записывала и не измеряла. Она ходила — тихо, медленно, как ты ходишь. Не ногами — грудью. Я не слышу гул, как ты. Но я вижу людей, которые слышат. У них другое лицо. Лицо открыто, как дверь, и из лица идёт внимание — не на вещи, а сквозь вещи. Как свет: свет не смотрит, он падает и освещает.

Эви слушала, и в груди разгоралось тепло — маленькое, как уголёк, который раздули. Ной описывала не незнакомку. Она описывала Эви.

— Она подходила к чуму каждый день, — говорила Ной. — Сэвле звал. Не голосом — присутствием. Он сидел у огня, и она приходила, садилась рядом. Молчали час, два, иногда весь день. И в этом молчании было больше, чем в словах. Я не слышу гул, но чувствую тепло. Между ними было тепло. Не человеческое — земное. Как будто корни двух деревьев сплелись под землёй.

— Она изучала травы, — сказала Эви.

— Да. Травы, коренья, мох, ягоды. Знала их, как я знаю. Только иначе. Я знаю потому, что живу здесь, потому что мать учила и бабушка учила. Она знала потому, что чувствовала. Кладёт руку на растение — и слышит. Не ушами — рукой. Говорила мне: «Это растение живое. Оно дышит. Если ты тихая — услышишь». Я не слышала. Но верила. Потому что когда она клала руку на моё сукно, я чувствовала тепло. Не от руки — от неё. Она грела. Как огонь, только без дыма.

Эви закрыла глаза. Женщина, которая слышала растения ладонью. Которая сидела рядом с Сэвле и молчала часами. Это был не просто дар городского учёного. Это был тот же дар — её дар.

— Сэвле говорил, — Ной понизила голос, как разговор под гаснущим огнём, — что она не просто учёная. Она — между. Как ты. Как сова. Как он. Она слышала гул — слабее, тише, как человек глуховатый, но не глухой. И за это её послали.

— Послали?

Ной кивнула — медленно, тяжело.

— Экспедиция была не просто учёными. Сэвле говорил: «Учёные — лицо, как маска на шамане. За маской — другие. Люди с деньгами. Они платят не ради трав, а ради того, что женщина может. Они знали про её дар и послали её найти места силы. Не травы — места. Где гул громче, где духи ближе, где земля живая. Места, которые можно взять».

Эви замерла. Бубен смолк — вибрация оборвалась, как сердце, пропустившее удар.

— Кто? Кто послал?

— Сэвле имён не назвал. Сказал: люди из города. Не из Ноябрьска — из Москвы. Богатые, старые, купцы. Торгуют всем: мехом, рыбой, газом. И тем, чего не видят. Тем, что между. Они хотят это измерить, купить, продать. Как мех — только вместо меха гул.

— Сэвле говорил, они люди, которые платят за дар, как за пушнину. Мать ушла, чтобы они не нашли тебя. Она знала — они заберут ребенка, как берут оленя для нарты.

— Сэвле знал, кто её послал?

— Догадывался. Он чувствовал грудью: за женщиной стоит тень. Тёмная, жадная, далёкая, на юге, за городами. Он говорил ей: «Не возвращайся. Останься. Тундра защитит. Я защищу». Но она не осталась.

— Почему?

Ной замолчала надолго. Огонь почти погас; угли тлели красным, как глаза зверя в темноте. И Эви увидела, что лицо Ной больше не каменное — живое. Боль, затянутая старой плёнкой, лопнула.

— Она боялась, — сказала Ной. — Не тундры. Не Сэвле. Не ребёнка. Боялась их. Сэвле говорил: «Она знала, что они придут за ребёнком. Если ребёнок здесь, у шамана, — они найдут. Заберут. Будут растить как инструмент. Как используют оленя — не любя, а для нарты». Она хотела защитить. Единственный способ — уйти. Уйти так, чтобы они не знали, где ребёнок. Уйти — и умереть. Умереть — и забрать секрет с собой. Брат отнёс. К лиственнице. К Сэвле. И ушёл, не сказав, куда и кому. Просто положил. И ушёл.

Эви сидела не двигаясь. Бубен молчал — впервые за все годы. Не гудел, не вибрировал. Молчал, как молчит чум, когда погас огонь и стих ветер.

Мать ушла. От них. Они уже тогда присылали людей с приборами. Они искали её. Ушла, родила, умерла. Перед смертью попросила брата отнести дочь к лиственнице. Туда, где гул живой.

— Сэвле говорил, — голос её стал почти неслышным, — что она любила. Не так, как любят в городе. Она любила землю, тундру, гул. И Сэвле. И тебя. Любила так сильно, что отдала. Отдать труднее, чем оставить. Оставить — эгоизм. Отдать — жертва. Она отдала тебя тундре, потому что тундра сильнее людей. Тундра не предаёт. Тундра не продаёт. Тундра хранит.

Эви смотрела на угли, и в их свете проступало лицо матери. Тёмные волосы, карие глаза, спокойная улыбка. «Я не могла оставить тебя там. Я не могла взять с собой. Я отдала тебя туда, где тебя будут любить. Прости». Это был тот сон на Бали, который она помнила до каждого слова. Теперь всё сошлось. «Там» — не тундра, там — город. Там — люди, которые послали. «Тебя будут любить» — это про Сэвле, Ной, Тарко. «Прости» — за то, что отдала, а не оставила.

Слёз не было. В груди не было ни камня, ни огня — нечто третье. Пустота, но не мёртвая, а живая: как чаша, из которой вылили воду, но чаша помнит вкус. Боль от этого шла не острая, не режущая — тупая, глубокая, как боль в костях на морозе. Такую не выгнать и не заглушить. Через неё можно только пройти, как проходят сквозь метель: не потому что хочешь, а потому, что нет другого пути.

— Ной, — сказала Эви. — Кто они? У них есть имя?

— Сэвле не назвал. Сказал: купцы, Москва, старые. Больше не знал или не сказал. Он умел молчать лучше, чем говорить. Он сказал мне только то, что ты должна услышать. Осталь-

ное найдёшь сама. Он сказал: «Эви найдёт. Она — между. Она — мост. Мост не знает ответа — мост соединяет. Она пойдёт в Москву, найдёт тень и увидит. Грудью увидит, что тень скрывает».

Эви посмотрела на билет. Белый прямоугольник с буквами. Она взяла его и прочитала дату внимательно, медленно, буква за буквой. Не вчерашняя. Завтрашняя. Три дня она держала в руках билет, который ещё не уезжал, — и не заметила. Кто-то знал, что она будет готова. Кто-то — или что-то. Гул? Сэвле? Мать?

— Я поеду, — сказала она.

Ной кивнула. Коротко, как удар топора. Не «хорошо», не «иди» — просто признание: я слышу, я знаю, ты готова.

— Бубен, — сказала Ной. — Возьми.

— Бубен в городе...

— Бубен не в городе. Бубен в тебе. Возьми.

Эви встала. Бубен в руках был тёплым, живым, гудящим — вибрация вернулась, тихая и ровная. Он ждал её, как ждал двадцать шесть лет, пока его держал Сэвле.

— Ты останешься? — спросила Эви.

— Куда мне идти? Моё место — здесь. Твое — там. Пока там, потом здесь. Так всегда. Уходишь и возвращаешься. Как олень. Как снег. Как солнце.

Эви подошла и положила руку ей на плечо — маленькое, твёрдое. Ной не подняла головы, но плечо дрогнуло, едва ощутимо, как струна, которую тронули пальцем.

Эви вышла из чума. Снег падал мелкий, сухой, колючий. Небо оставалось серым и низким, но в одном месте в нём была трещина, и сквозь трещину шёл розовый свет, как угли. Утро. Начало.

У горизонта стоял олень — тёмная точка на белом. Не двигался. Смотрел. Знает, подумала Эви.

Сова не прилетела, но Эви чувствовала её — холодок на затылке, тепло в груди. Рядом. Ждала. Как бубен. Как тундра.

Завтра — Москва. Город, где асфальт не скрипит, где фонари горят без огня, где люди не слышат себя. Там — тень, которая послала мать в тундру, чтобы найти силу, и забрала её, когда сила была не нужна. Тень, которая пока не знает, что Эви существует.

В доме она положила бубен на стол, рядом с билетом: дерево и бумага, тёплое и холодное, тундра и город. Два мира. Она — между.

Стала собирать рюкзак — тот, с зигзагом, который Ной вырезала на бересте. В него легла малица, старая, с красным зигзагом на спине; валенки, тяжёлые, тундровые; вяленая рыба, тёмная, как кора. Бубен — в мешок, рогами внутрь. И блокнот с северными узорами: линии, зигзаги, кресты, ромбы. Руки помнили эти знаки с детства.

Ной стояла у выхода, с руками опущенными вдоль тела. Впервые за все годы они не двигались. Но Ной не спала — она держала свёрток, маленький, завёрнутый в ткань, перевязанный нитью из сухожилия.

— Это — матери, — сказала она. — Сэвле хранил. Я хранила. Теперь — ты.

Эви развернула ткань. Внутри оказалась овальная медная пластина, потемневшая от времени. По металлу шла тонкая вязь: переплетённые стебли зверобоя и можжевельника. Не украшение — клеймо. Рабочий знак травницы.

— Она не просто собирала травы — она делала их, — сказала Ной. — Сушила, заваривала, мазала. И клала на каждую заготовку знак, чтобы знать: это её руки, её травы. Он лежал в свёртке, рядом с тобой. Сэвле хранил. Я хранила. Теперь — ты.

Эви сжала медальон. Медь была холодной и тяжёлой, но от неё шёл запах — слабый, далёкий, как воспоминание о цветке. Зверобой, горький и тёплый. И можжевельник, острый,

смолистый, как дым. Запахи рук, которые делали травы. Рук, которые коснулись её волос один раз — может быть, ещё до рождения.

Она надела медальон на шею, под свитер. Медь грелась от тела, и с теплом запах становился сильнее. Мать была рядом — не духом, медью. Не голосом, запахом.

— Спасибо, Ной.

Ной не ответила. Протянула руку и коснулась щеки Эви — коротко, как касаются пламени, чтобы проверить, горит ли. Горит. Ной убрала руку и запела — ту беззвучную песню с протяжными звуками, от которых закрывались глаза и тело становилось тёплым. И Эви услышала в песне то, чего не слышала раньше: имя. Не слово — звук, тон, который проходит сквозь все ноты, как нить сквозь бисер. Ной пела её имя.

У снегохода ждал водитель — русский с красным лицом, курил и молчал. Посмотрел на Эви, на рюкзак, на бубен в мешке. Не спросил. Завёл мотор.

Но тело не хотело двигаться. Ноги, отвыкшие от долгого сидения у очага, казались деревянными чурками. Мороз ударил по лицу сразу, стоило откинуть полог и шагнуть за него.

Она потянула с гвоздя старую малицу. мех внутри смерзся колтунами от дыхания — тяжёлый, каменный. Плечи отозвались тупой болью: суставы отказывались сгибаться на минус сорока. Малица повисла мешком. Роговые пуговицы замерзли намертво. Эви дёргала петли раз, другой, третий — пальцы в тонких рукавицах не слушались.

— Давай же, — прошипела она сквозь стиснутые зубы.

Рог хрустнул. Верхняя пуговица отлетела, упав на настил из оленьих шкур. Она схватила иглу и сухожилия со стола; руки тряслись так, что костяное ушко плясало перед глазами. Игла соскользнула и пропорола кожу на пальце — кровь выступила чёрным пятном на морозе. Эви втянула воздух носом, зажмурилась и всё-таки продела нить. Стежок вышел кривым, рваным. «Глухарь охранял», — вспомнила она вчерашний шов. Сейчас глухарь клевал её собственную плоть.

Кисы у входа задубели, как гранитные глыбы. Эви села на низкую скамью, упёрлась спиной в стену, закинула правый валенок на колено — удар отозвался в локте вибрацией. Тогда она перекинула ноги через порог, прямо в сугроб, чтобы согреть войлок теплом тела. Снег обжёг ступни даже сквозь две пары вязанных носков. Она выругалась вслух — коротко, зло, по-мужски. Тарко бы одобрил. Навалившись всем весом, чувствуя, как трещит сустав бедра, она с рычанием протолкнула стопу внутрь. Войлок впился в лодыжку ледяным капканом.

Рыба легла в рюкзак легко, а вот бубен... Бубен был живым — его нельзя просто бросить в мешок. Эви достала кожаный чехол. Сыромятную шнуровку, заledenевшую в узлы, не хотелось развязывать пальцами — она грызла их зубами, чувствуя вкус старой кожи. Шнуровка поддалась. Бубен лёг внутри рогами к спине, кожей наружу, и стал бить её по лопаткам при каждом движении, напоминая: я здесь. Я тяжелее тебя.

Полог задубел на морозе — промёрзшая парусина держала форму доски. Снег намело к входу высоким бруствером. Эви отвязала завязки — пальцы не слушались — и откинула полотнище. Раз, второй. На третий раз пролезла всем телом, и ком снега с бруствера сыпался внутрь. Ной даже не подняла головы от ягод — только чуть подвинулась, пропуская летящую белую пыль. Она стояла посреди двора — одетая, собранная, вооружённая — и дрожала. Не от холода, от ярости. Тундра не хотела отпускать: каждая застёжка, каждый узел требовали войны. Эви сплюнула на наст. Слюна зашипела и испарилась, не долетев до земли. Она вытерла кровь с пальца рукавом, посмотрела на лиственницу. Дерево стояло тёмное и равнодушное. Оно знало цену каждому движению здесь.

Эви зачерпнула горсть чистого снега и яростно растёрла лицо, смывая остатки сна и страха. Кожа вспыхнула огнём.

— Ну давай, — бросила она в серое небо. — Попробуй остановить.

И пошла к снегоходу.

Мотор взревел. Тундра понеслась мимо — белая, ровная, до горизонта. Небо оставалось серым и низким, но трещина в нём не закрывалась: розовый свет шёл и шёл, как угли. Утро. Начало.

Эви смотрела вперёд и не оборачивалась. Сэвле говорил: нельзя дважды войти в одну реку. Ной говорила: уходишь и возвращаешься. Оба правы. Не круг — спираль. Не повторение — продолжение.

Бубен за спиной гудел, тихий и ровный, как сердце. Медальон на груди грелся под свитером. Зверобой и можжевельник. Мать — рядом. Тундра — позади. Город — впереди.

Снегоход нёс её по белому полю, снег летел из-под полозьев, ветер бил в лицо, а Эви дышала — глубоко, ровно, как дышит земля. И в дыхании был гул. Не тундровый и не городской — третий. Между. Её.

Впереди вставал Ноябрьск — серый, кирпичный, как пограничный столб. За ним самолёт. За самолётом Москва. За Москвой — тень.

Глава 2. Фактория

На отшибе стоял аэропорт — невысокое, одноэтажное здание, серое, как всё вокруг; над его крышей тянулось слово «НОЯБРЬСК» — синие буквы, которые не горели ни днём, ни ночью. Этому городу незачем было светить: он и так стоял белым на белом.

— Весь город на сваях стоит, — сказал водитель, не оборачиваясь. За два часа он не произнёс и десяти слов; теперь, у края своего мира, разговорился. — Мерзлота дышит. Поставишь дом на землю — через три года поедет. А на сваях — стоит хоть сто лет.

Город стоял многоэтажным — серые панельные коробки, квартал за кварталом, а кое-где, в отдельных его концах, лежали частные секторы: одноэтажные дома, пристроенные веранды. Дома не висели над землёй — сваи уходили в грунт глубоко, как корни, и мерзлота держала их намертво. Под домами не сквозило: земля не пускала ни ветра, ни тепла. Она перевела дыхание — и вдруг поняла. Так стоит и чум. На шестах, над землёй, без фундамента. Город у тундры научился — только не признался. Вместо шкуры — бетон, вместо шестов — сваи. И то же расстояние между человеком и землёй: слой, через который гул проходит глухо.

— Кто оставил билет? — спросила она у водителя, когда снегоход остановился у гостиницы. — Человек, который платит за рейсы. Кто он?

Водитель погасил окурок о борт и посмотрел на неё в зеркало заднего вида — долго, решая, отвечать ли.

— Платят — возим, — сказал он наконец. — Кто платит — не положено спрашивать.

И добавил, уже отворачиваясь к мотору:

— Хороший билет, между прочим. Прямой, без пересадок. Так берут, когда человек точно знает, что ему лететь.

Гостиница была одна на весь город: трёхэтажная, с плёчными окнами и стойкой, за которой дремал охранник. Эви взяла ключ и поднялась на второй этаж, проваливаясь кисами в пол — половицы стонали, как лёд под нартами.

Вечером она спустилась в столовую. Пахло щами, чаем и мокрым войлоком — на вешалке сохли чьи-то унты. Люди сидели за длинными столами: буровики, шофёры, две женщины в комбинезонах. Эви села у стены, взялась за ложку и — не удержалась — открыла грудное зрение шире щёлки.

Городских гулов здесь не было. Гулы за столами были помятые — так выглядит гул человека, который работает на Севере: ровный, как шаг по насту, но с потёртостями на боках. Усталость, мороз, дороги. Ни одного мёртвого шума. Она слушала их, как слушают музыку после глухоты, — и не заметила, как просидела два часа, а чай остыл дважды.

В номере она умылась и подняла глаза на зеркало — и задержалась. Три года она видела себя кусками: в полированной стали бубна — овал лица, в корке льда на реке — размытый силуэт, в зрачке Сэвле, когда он подносил её лицо к своему, — глаза. Целиком — ни разу. В тундре не было зеркал.

Теперь в зеркале стояла женщина. Тёмные волосы, отросшие за зиму, скулы, карие глаза. Лицо втянулось, но не ожесточилось; на скуле — старая царапина от ветки. Чужое лицо, которое было её.

— Здравствуй, — сказала она зеркалу.

Голос прозвучал непривычно: тихо, на низких тонах. Зеркало не ответило — зеркала никогда не отвечают. Но она на всякий случай прислушалась.

Ночью гул шёл к ней сквозь четыре слоя. Первый — доски пола, старые, со вздохами. Второй — бетон свай, под домом. Третий — слой мёрзлого грунта, толстый, как звериный жир. Четвёртый — тот, о котором у неё не было слова. Гул доходил глухим, как сердцебиение

через подушку, — но шёл. Ровный, тундровый, тот самый. Земля говорила с ней через весь этот пирог — медленно, тихо, но не переставая.

Она просыпалась на каждый удар и снова засыпала. Так, до утра.

Утром она пошла в авиакасса — переоформить обратный, на всякий случай. В кассе было тепло и пахло бумагой. Женщина за стеклом смотрела на неё поверх очков, и вдруг наклонилась ближе.

— Ты Сэвле дочь?

Эви кивнула.

— Похожа. Он каждую зиму в ноябре приезжал — на снегоходе, а его оставлял у края города и шёл дальше. За мукой, за сахаром. Всегда один. Всегда с бубном за спиной, и в очередях его обходили стороной, а он ничего, стоял и ждал. Я видела его на рынке, у хлебного ларька, — такая осанка, что мимо не пройдёшь. Женщина вздохнула и стала выписывать квитанцию.

— Летишь в Москву? Там не стой у края платформы. Первый раз теряются.

— Не первый раз в городе, — сказала Эви.

— Первый раз после того, как стал городом, — сказала женщина и протянула квитанцию сквозь окошко. — Удачи, дочка.

Эви вышла на улицу. Небо стояло низкое, серое, но без той плоскости, что в тундре, — город подпирал его трубами и кранами. Она села ждать машину до аэропорта, положила руку на бубен в мешке и слушала. Сквозь бетон, сквозь сваи, сквозь мёрзлоту — глухо, но не переставая — гудела земля.

Первое столкновение случилось ещё в аэропорту. Стекланные двери разъехались, и тугая волна искусственного тепла ударила в лицо. В тундре воздух звенит от холода — острый, чистый. Здесь пахло пылью, озоном и чужими духами; сухой воздух кондиционеров обжёг лёгкие. Эви расстегнула ворот малицы — стало душно.

В Домодедове асфальт под ногами казался мягким и вязким, подошвы унтов скользили по гладкой плитке. Шаги звучали глухо, без эха о мерзлоту. Всё было слишком ярким: ядовито-жёлтые указатели, ослепительно-белые лампы над стойками регистрации. Глаза, привыкшие к снежной глади и низкому серому небу, болели от электрического света. Эви прикрыла грудное зрение до узкой щели — иначе поток чужих мыслей, тревог и спешки просто снёс бы её.

Москва встретила её звуком. Тундра гудит — это один низкий тон, голос самой планеты. Москва ревела. Не музыка — скрежет: металл о металл, вой сирен, визг тормозов, вибрация подземки, которая шла через подошвы прямо в кости. Гудело всё, но это был мёртвый гул трансформатора, лишённый пульса.

Она стояла на площади Трёх вокзалов. Небо здесь казалось ниже, чем в тундре, — прижатое к крышам многоэтажек, не серое, а жёлтое от фонарей. Снег падал чёрный, пропитанный копотой. В воздухе стояли гарь, мокрый бетон и жареное мясо из ларьков. Никакой хвои, дыма, чистого зверя — только химия и люди.

Эви плотнее запахнула малицу, пряча медальон глубже под свитер. Медь грела кожу сквозь шерсть, напоминая о доме, но здесь эта теплота казалась уязвимой.

Тундра — позади. Город — впереди. Москва. Тень. Ложь.

Эви пошла в метро. Бубен молчал в рюкзаке, подавленный тяжестью бетона. Но она чувствовала его дрожь. Он боялся так же, как и она.

Глава 3. Архив

Москва не пахла.

Эви вышла из метро на «Университете» и остановилась. Воздух был как стёртая бумага: без запаха, без веса. В Ноябрьске хотя бы пахло озоном и железом, в тундре — снегом, дымом, живым мехом. Здесь ничего. Как будто кто-то провёл ладонью по лицу земли и стёр всё, оставив ровный серый воздух.

Грудное зрение она держала в узкую щёлку, как кошачий зрачок днём. Этому она научилась за три года в городе: если открыть шире, становилось больно. Не физически — грудью. Слишком много людей, слишком много гулов, которые не гулы, а шумы: машины, стройки, вентиляция, чужие голоса. Город гудел, но его гул был мёртвый, без пульса, как гул трансформатора.

Кисы тяжело шлёпали по тротуару. Она не переобувалась.

Вечером в отеле она не спала. Лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок: белый, ровный, без копоти и без того узора, который рисует дым на шкурах чума. Город — это потолок, думала она. Ровный, чистый, мёртвый. Люди живут под потолком и не видят неба — не потому что его нет, а потому что потолок ближе.

Медь на груди грелась. От неё шёл тот самый запах — травы, горькие и тёплые. Эви не помнила этого запаха из детства; помнить она его не могла. Но тело помнило. Следы, как следы на снегу, которые занесло, — а если расчистить, проступят.

Зверобой она никогда не видела его живым: в тундре он не растёт. Знала только по запаху с медальона — и по сну. Тем самым сну, который не был сном: высокие зелёные стебли, мелкие жёлтые цветы, и знание, вложенное в неё извне. Не спрашивала, чьё. Принимала.

Утром — кофе, хлеб, выход.

Научную библиотеку охраняли двое. Рюкзак Эви сдали в камеру, бубен в кожаном чехле заставили показать и долго рассматривали. Один охранник потрогал обод, покрутил в руках, спросил:

- Что это?
- Музыкальный инструмент.
- Похож на тарелку.
- Деревянная.

Он хмыкнул и выписал пропуск. Эви поднялась на третий этаж.

Читальный зал был длинным, с высокими окнами и рядами столов. Тишина здесь была не тундровая, не живая — принудительная, удерживаемая стенами и правилами. За окном стояли старые липы с чёрными стволами. Эви смотрела на них и находила утешение: корни уходили под асфальт, под трубы, в землю. Деревья гудели — слабо, глухо, но живо. Городская тундра, маленькая и упрямая.

К справочной стояла очередь из двух человек. Когда подошла её черёд, женщина в очках посмотрела на Эви — на унты, на куртку, на скуластое лицо — и спросила устало:

- Институт? Тема?
- Частный поиск. Мне нужны материалы ботанической экспедиции на Ямал, примерно восемьдесят девятый — девяностый год. Отчёты, заявки, списки участников.
- Без организации искать нельзя. Список пустым не бывает.
- Институт ботаники. Возможно, через академию.
- Женщина застучала по клавишам. Экран выдал десятки названий.
- Фамилия участника?
- Анна. Фамилии не знаю.
- Анна — распространённое имя.

— Я знаю её рабочий знак, — сказала Эви и положила медальон на стойку. — Вот такой. Может, в документах он где-то описан.

Женщина повертела медальон, прочла гравировку. Брови чуть поднялись.

— Составьте читательский запрос. Паспорт есть?... И оставьте здесь до вечера. Если найдётся — позвоню.

Эви села за стол у окна и ждала. Час. Два. Она закрывала глаза и слушала сквозь щёлку: под полом, под бетоном, под трубами метро гудела земля. Тихо, как раковина, приложенная к уху. Тот же гул, что в тундре. Только здесь он был прикрыт, как голос за стеной.

Женщина подошла к концу третьего часа. В руках — картонная папка с выцветшей наклейкой.

— Повезло вам, — сказала она без выражения. — В описи за девяностый год значится приложение к отчёту: «личный знак участницы-сборщицы». Медный. С растениями. Совпадает. — Она положила папку. — Участница — Анна Сергеевна Воронцова. Научный сотрудник. Числится выбывшей из экспедиции по собственному желанию, август девяносто первого... простите, девяносто первого не было. Август девяностого. Дальше в наших фондах — ничего. Ни отчётов, ни публикаций. Просто выбыла.

Эви взяла папку. Руки не дрожали. Тело ждало этого всю жизнь — и вот картон, пыль, машинопись.

Анна Сергеевна Воронцова.

Имя. Фамилия. Отчество. Сэвле говорил «мать», Ной — «она», брат — «сестра». Полного имени не назвал никто. А оно лежало на выцветшей наклейке, набранное на машинке, между других имён.

Первая страница — заявка на экспедицию. Стандартная форма: цель, маршрут, сроки, участники. Цель — «изучение флористического состава тундровых сообществ бассейна Обской губы». Сроки — июнь–август 1990. Участники — семь человек. Руководитель — кандидат биологических наук А. Г. Озеров. В списке — «А. С. Воронцова, научный сотрудник, сбор полевого материала».

Вот она. Мать. На бумаге, в типографском шрифте. Одна из семи. Не первая, не последняя — просто в списке.

Вторая страница — бюджет. И здесь было то, ради чего она приехала.

Графа «Финансирование»: не институт, не академия. «Спонсорский взнос. Торговый дом „Тумановские“, Москва». Сумма — крупная, крупнее всех остальных статей вместе взятых.

Тумановские. Ной сказала «купцы из Москвы» — без имени. Имя стояло здесь, набранное на машинке. Эви смотрела на буквы и чувствовала, как дрогнул гул в груди. Не от боли — от узнавания.

Третья страница — список снаряжения. Обычное: прессы, чтобы сушить растения, лупы, приборы с делениями для замеров, палатки, рации. Но внизу — приписка от руки, тем же мелким почерком с наклоном влево: «Дополнительно по просьбе спонсора: железный ящик с проводами, будто для поиска металла; трубка с датчиками, чтобы нюхать землю; длинные тонкие штыри, чтобы тыкать глубоко в почву и смотреть, тёплая она или нет».

Не для трав. Для земли.

Зачем экспедиции, которая собирает цветы, ящик для поиска металла? Эви смотрела на строчку и понимала: спонсор искал не травы. Спонсор искал то, что под травами.

Четвёртая страница — маршрутные точки. Семь точек по побережью Обской губы. Эви вчиталась в координаты и замерла: точки были не найдены экспедицией. Они были заданы заранее — вписаны в заявку спонсором. И точка номер пять совпадала с тем местом, где стояла листовенница. Где Сэвле нашёл младенца.

Купец знал про это место до того, как экспедиция поехала. Откуда?

Эви перечитала шапку заявки дважды. Никакого объяснения. Просто координаты, как из воздуха. Она отложила страницу и подумала: с этого и надо было начинать. Не с матери. С того, кто знал раньше неё.

Пятая страница — копия письма Озерова спонсору.

«Уважаемый Виктор Степанович! Благодарим за финансовую поддержку экспедиции. По Вашей просьбе сообщая: полевой материал собирается в соответствии с Вашими указаниями. Особое внимание уделяется районам, указанным Вами как „зоны повышенного интереса“. Участница Воронцова А. С. демонстрирует выдающуюся чувствительность к растительным сообществам, что позволяет предполагать наличие у неё особых способностей. Рекомендуем продолжить наблюдение».

«Особые способности». Учёный язык, пытающийся описать то, что учёным языком не описать. Мать слышала травы — руководитель заметил. И сообщил спонсору. Виктору Степановичу Тумановскому.

Шестая страница — рукописные заметки. Не машинопись — почерк. Мелкий, аккуратный, с наклоном влево; буквы тонкие, как иглы. Эви не видела почерка матери никогда. Но тело узнало: она. Так же, как узнало в тундре, когда бубен зазвучал сам. Не головой — грудью.

Заметки были про растения. Цифры, места, подробности. «Зверобой, растёт густо у южного склона. Странно: вид южный, в тундре не встречается — а здесь густо, с цветением. Освещение полное, фаза цветения. Отмечена вторая странность: при прикосновении лист выделяет усиленный запах. Похоже, отзывается на...» — дальше слово было зачёркнуто. Эви пригляделась, поворачивая лист к окну. Зачёркнуто: «на присутствие».

Прикосновение — и лист отзывается. Мать записала — и зачёркнула. Потому что «присутствие» не место в научной тетради. Это слово из шаманских историй.

Эви перебирала дальше. Седьмая страница. Восьмая. Заметки стояли ровно, как брёвна в срубе; мать писала о травах так же спокойно, как Сэвле говорил о духах: без восторга, без страха, просто фиксировала то, что есть.

«Можжевельник у лиственничной гривы, корни глубже обычного. Деревья здесь старше, чем кажутся. Грунт тёплый. Не объясняется ничем».

На одиннадцатой странице у Эви перехватило дыхание.

«Лиственница. Одна, огромная, в стороне от гривы. Ствол не обхватить. Возраст по кольцам не определить, сердцевина гнилая, но дерево живое, хвоя свежая. У корней — тепло. Положила ладонь на ствол — и услышала. Не звук, вибрацию. Низкую, ровную, как пульс. Как будто дерево дышит. Или то, что под ним. Земля здесь живая. Не в ботаническом смысле. В другом. Не могу описать научным языком. Здесь что-то есть. Не знаю что. Но чувствую сильно. Как будто меня ждали».

«Как будто меня ждали».

Эви читала и слышала за текстом голос — тот, который шёл к ней сквозь сны. Мать стояла у лиственницы, клала ладонь на ствол, слышала гул — и не знала, что это. Эви знала: Сэвле научил. Мать была одна. Между миром учёных и миром шаманов — без учителя, без бубна, без слов.

На двенадцатой странице — фотография.

Чёрно-белая, квадратная, с широким белым краем. Группа людей у палаток, тундра плоская и серая. Семь человек — шесть мужчин и одна женщина. Она стоит чуть в стороне, у стола с разложенными травами. Тёмные волосы собраны в хвост. Тонкое лицо. Карие глаза — даже сквозь чёрно-белую плёнку видно, какие они тёмные, почти чёрные. Не улыбается. Смотрит в камеру прямо, спокойно, взглядом, который Эви знала. Не по фотографии — по себе. Тот же взгляд: не на вещи, сквозь вещи.

Эви держала снимок и не дышала. Лицо. Лицо матери, первый раз в жизни. Слова — это тень, а фотография — плоть. Она смотрела и видела себя: тот же изгиб бровей, тот же тонкий сжатый рот, та же прямая осанка, как у лиственницы.

На шее женщины, под воротником рубашки, висела цепочка. Тонкая, едва заметная. Медальон. Зверобой и можжевельник. Рабочий знак травницы — не украшение, инструмент.

Эви положила фотографию на стол. Внутри не было покоя. Внутри дышали стены — как в Нижнем мире, когда ворочаются духи. Гул шёл не тихий и не далёкий: близкий, горячий, как угли, которые раздули.

Последняя страница — служебная записка. От Озерова кому-то в институте. Дата — сентябрь 1990, месяц после «выбытия по собственному желанию».

«Копия. Касательно выбытия участницы Воронцовой А. С. 14 августа 1990 года Воронцова А. С. покинула лагерь экспедиции без уведомления руководителя. Личные вещи оставлены. Полевые записи изъяты. По возвращении в Ленинград установлено, что Воронцова А. С. обратилась к представителю спонсора с просьбой о...» — дальше текст обрывался. Ксерокопия была неровной, правый край срезан, последние слова ушли под резак.

«С просьбой о...» О чём? О помощи? О защите? О деньгах?

Эви считала месяцы. Август — уход из экспедиции. Весна — роды. Между ними — осень и зима, которых никто не видел. Где была мать эти месяцы? У брата? В городе? У них?

Бумага не отвечала. Но следы вели к Тумановским.

В конверте, прихваченном скрепкой, лежал ещё один лист. Рукописный, тот же почерк, но руки дрожали: буквы прыгали, линии ломались. Мать, писавшая в страхе.

«В. С. знает про лиственницу»; «В. С. говорил. Я видела, как он копировал мои координаты. Не должна была записывать. Не должна была писать про гул. Но не могла не писать — это сильнее меня, как будто кто-то диктует, а я рука. Теперь они знают. В. С. говорил: „Анна, ваша чувствительность — это не просто талант. Это инструмент. Мы можем помочь вам развить его. У нас есть ресурсы, лаборатории, оборудование. Подумайте.“ Я подумала. И испугалась. Не его. Себя — того, что они хотят из меня сделать. Не травницу — инструмент. Не человека — ключ. Я уйду. Чувствую: они близко. Их интерес не травы. Они ищут то, что под травами. И я им показала. Своими записями. Своим чувством. Они не забудут. Они из тех, кто не забывает».

Эви читала и слышала мать — не тень, голос. Живой, испуганный, сильный. Мать знала, что Тумановским нужен не учёный, а ключ. И бежала. Не от тундры — от них. Ной была права.

И Эви была итогом этого страха. Мать бежала в тундру, к Сэвле, к гулу — туда, куда купцы не могли дотянуться. Родила. Отдала. Умерла, забрав секрет с собой.

Эви вернула папку. Поблагодарила. Вышла из библиотеки.

На улице остановилась у фонаря и достала медальон. Зверобой и можжевельник, переплетённые, как два корня. Один — вниз, к травам, к матери. Другой — к людям, к Тумановским. Между ними сходилась точка. Она.

Медь грела ладонь — теплее, чем утром. Эви сжала кулак, и медь впилась в кожу, горячо. И в этом жаре была не только медь. Вибрация. Тихая, как голос из-за стены. Мать носила эту пластину на теле, касалась ею трав, слушала через неё землю. Память живёт в меди, как запах живёт в шкуре.

Она убрала медальон в карман и достала телефон. Номер, который Дима дал три года назад, при отъезде в тундру: «Если понадобится юрист или кто-то в Москве — звони. Надёжный человек. Умеет искать».

Дима ответил не сразу. На третьем гудке.

— Эви? Ты в Москве?

— Да. Мне нужно найти людей. Тумановские. Торговый дом. Виктор Степанович Тумановский.

Пауза была длинной. В трубке гудел его город, натянутый, как струна, которую тронули, но не отпустили.

— Это не заказчик, Эви. Это корпорация. Старая, купеческая. Сейчас — нефть, газ, стройка. Очень большие деньги и очень закрытая структура. Откуда ты взяла это имя?

— Из архива. Они финансировали экспедицию, в которой работала моя мать.

— Твоя мать?...

Он замолчал. — Ты никогда не говорила про мать.

— Теперь говорю.

— Дай мне день. Один день, — сказал Дима. — И Эви... эти люди не те, к кому приходят с вопросами. Они те, кто задаёт вопросы.

— Я знаю.

— Я серьёзно. Не подходи к ним первой.

— Я не подойду первой. Я подойду по-своему.

Он вздохнул так, что стало слышно, как он потирает переносицу.

— Завтра к обеду. Не раньше.

Эви положила трубку. Вокруг шёл поток людей, каждый в свой гул, в свою спешку, и никому не было дела до девушки у фонаря, которая держала в кармане голос умершей матери.

Вечером она пошла в парк. Не по плану — по слепому, глухому зову тела, которое знало то, чего не могла вместить её уставшая голова. После архива, после фотографий, после записей голова была переполнена до треска: буквы, координаты, фамилии, даты роились, стучали, впивались в виски. Голова кипела. А тело вело — тихо, но непреклонно, как олень, который знает дорогу к воде, когда человек уже потерял путь.

Парк был маленький, зажатый между домами: детские качели, старые берёзы. Эви вошла и выдохнула. Воздух здесь был другой — не стёртый, не мёртвый. Густой, напоённый: талой водой, корой, чьим-то костром. Берёзы стояли старые, с чёрными стволами; снег под ними протаивал до земли, и корни проступали из наста, как вены. Март звенел каплей с кромки крыши. И под всем этим — земля. Гнилая, тёплая, живая. Гул — глухой, далёкий, но настоящий. Она села на скамью под самой старой берёзой и положила руку на корень, проступивший из земли. Кора была шершавой. И тёплой — не от солнца, изнутри.

Тот же звук, что у лиственницы. Слабее, дальше, сквозь асфальт и трубы. Но тот же.

Мать не оставила ей писем, не оставила голоса. Она оставила медальон, папку в архиве и это — умение класть ладонь на дерево и слышать. Дар, который шёл не от Сэвле. По материнской линии.

Эви сидела в потемках, пока не застыли руки, и слушала, как гудит городская земля под её ладонью.

Глава 4. Вызов

Москва высасывала.

Это Эви поняла не сразу, а на третий день, ночью. Тундра гудит снизу: один медленный удар — раз в минуту, не чаще, — и от него дрожит ягель, и вздрагивают камни, и поднимают головы олени. Этот гул питает. Москва гудела со всех сторон — машины, рельсы, лифты, про- вода, чужие голоса, — и её гул не питал, а сжигал. Каждый шаг по асфальту Эви отдавала чем- то тёплым, как отдаёт тепло баня, когда выходишь на мороз. Утром вставала пустее, чем была.

Грудное зрение она держала в щёлку и всё равно к вечеру шаталась. Дома, в Ноябрьске, она объясняла это сором, шумом, лишними звуками. Теперь знала точнее: город не шумит. Город кричит и не знает, что кричит.

Звонок Димы пришёл накануне, за полночь, когда Эви лежала в гостиничном номере без сна. За окном шли сирены, гудки, чей-то пьяный смех — и ни паузы между ними.

— Нашла, — сказал Дима без приветствия. Он всегда начинал с дела, если дело серьёз- ное. — «Арктика Групп». Бизнес-центр «Меридиан», двадцать третий этаж. Выписка по реги- страции в понедельник.

— Расскажи.

— Семья старая. Купцы, ещё до революции: пушнина, рыба, потом река, потом нефть и газ. Дед, Степан Аркадьевич, собирал компанию из торгового дома — его помнят ещё старые архивы. У него была страсть: экспедиции. Северные. Он их финансировал десятками, за свой счёт, и отчёты требовал лично к рукам.

— А отец?

— Отец — Виктор Степанович. Сейчас он главный. Человек с прошлым: в девяностые были проверки — таможня, отмывание, пропавший груз. Ничего не доказали, дела закрыли за смертью свидетелей. С тех пор живёт тихо и очень дорого. — Дима помолчал. — И Эви... сын у него, Алексей Викторович. С ним ты и столкнёшься, если пойдёшь туда. Он другой. Молодой, вежливый, чистый. Не верю я в такие фасады.

— Мне нужно про мать, Дима. Не про фасады.

— Я понял. Поэтому скажу главное, а ты решишь, что с этим делать. — Он понизил голос; Эви прижала трубку плотнее. — Эти люди не приглашают. Они вызывают. Ты поймёшь, когда придёшь. Если что — звони сразу, не жди.

— Позвоню.

Она положила трубку и долго сидела в темноте. Вызывают. Так говорят про духов, когда те зовут шамана: не просят — зовут, и шаман идёт, потому что идти больше некуда. Разница была тонкая и потому важная: духи зовут изнутри, из груди. Эти — снаружи, из стекла и денег. Но граница между «изнутри» и «снаружи» у Эви всегда проходила тоньше, чем у других людей.

Утром она вышла из гостиницы на Тверской. Мартовский воздух пах мокрым снегом и бензином; снег шёл крупный, неуклюжий, таял на куртке мёртвыми каплями. Эви подняла воротник, поправила ремень бубна на плече. Бубен она взяла с собой — не в рюкзак, на бок. После архива она носила его так, как носят рану: близко, к сердцу.

«Меридиан» стоял серой плитой из стекла и стали, вросшей в тающий снег. Двадцать три этажа. Лифт поднимался с негромким гудением, и Эви чувствовала, как с каждым метром земля отходит всё дальше — под бетонными сваями, под парковкой, под тёплыми трубами. Где-то там, внизу, она продолжала гудеть. Здесь, на высоте, её голос становился шёпотом.

На двадцать третьем этаже было тихо и пахло деньгами: кожей, кофе, чужим парфюмом. За стойкой сидела женщина-секретарь. Эви посмотрела на неё и не увидела ничего. Лицо было как маска, которую забыли расписать: ровное, вежливое, без рисунков. Как бубен без трёх миров. Секретарь подняла глаза.

— Вы Эви?

— Да.

— Алексей Викторович ждёт. — Улыбка вышла точной, профессиональной. — Прошу. Двери матового стекла разошлись.

Кабинет был не кабинет — рубка. Одна стена сплошным окном от пола до потолка; внизу лежала Москва, маленькая, аккуратная, придавленная тающим снегом. Вторую стену занимал экран: карта Обской губы, объёмная, подробная. По берегам тянулись купола — гладкие, жемчужные, вписанные в ландшафт. Ветряки, стилизованные под кости. Площадки для вертолётов. Название в углу: «Полярная звезда».

Безупречно. И мертво — как чучело зверя, у которого сняли шкуру, чтобы надеть её на манекен.

Алексей стоял у окна спиной. Высокий, ровный, как лиственница без ветвей. Костюм тёмно-серый, сшитый так, чтобы не мешать движению, и не мешать — ничему.

— Ты опоздала на семь минут, — сказал он, не оборачиваясь.

— Я здесь не для того, чтобы считать минуты.

Он повернулся. Эви посмотрела на его лицо. Красивое — не теплотой, точностью: чёткие скулы, прямой нос, тонкий рот. Глаза светлые, серые, и не отражали свет, а забирали его. Она знала такие глаза по снам о камнях, которые лежат в тундре под грядой: всё впитывают, ничего не отдают.

Но грудное зрение, даже сжатое в щёлку, сказала другое. Там, где у обычных людей под лицом плывёт серый туман мыслей, у Алексея сидел узел. Тёмный, плотный, горячий. Не его — старше его, как пыль на струнах, которых не касаются руками. Эви поняла сразу, телом: этот узел — род. Одержимость, которую Тумановские передавали друг другу, как передают серебро и фамильные портреты. Алексей не открыватель. Наследник. Раковина, в которой живёт дух, и он сам, возможно, не знает — какой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.